



СЕРГЕЙ САМСОНОВ

ВЫСОКАЯ КРОВЬ



INSPIRIA

МОСКВА

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С17

Художественное оформление серии *Константина Гусарева*

В коллаже на обложке и полусупере использованы иллюстрации:
© mariait, Anna Illustrator / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency
за содействие в приобретении прав

Самсонов, Сергей.

С17 Высокая кровь / Сергей Самсонов. — Москва : Эксмо, 2020. — 640 с.
ISBN 978-5-04-112896-8

Гражданская война. Двадцатый год. Лавины всадников и лошадей в заснеженных донских степях — и юный чекист-одиночка, «романтик революции», который гонится за перекасти-полем человеческих судеб, где невозможно отличить красных от белых, героев от чудовищ, жертв от палачей и даже будто бы живых от мертвых.

Новый роман Сергея Самсонова — реанимированный «истерн», написанный на пределе исторической достоверности, масштабный эпос о корнях насилия и зла в русском характере и человеческой природе, о разрушительности власти и спасении в любви, об утопической мечте и крови, которой за нее приходится платить.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Самсонов С., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-112896-8

I

*Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога,
Миллерово – Лихая*

Вот они, мертвые, — меж серыми скирдами, на ископыченном снегу, в лужах мерзлой пупырчатой крови. Один ничком, с упрятанным лицом, как будто греб по снегу, отмахивая мощные саженки, да так и застыл в отчаянном усилии уплыть от смерти, со скрюченными пальцами, вкогтившимися в наст. Второй, наоборот, как спит, умаянный работой, или пьяный, с беспечно раскинутыми ногами в обмотках и чуть не заведенными под голову руками, глядит полубежавшими глазами в железное бессолнечное небо. У третьего, тоже упавшего навзничь, с подогнутыми, завалившимися вбок ногами, багряно стесано лицо и видно лишь оскаленные стиснутые зубы.

Живые стоят над ними не долее, чем травоядные над падалью, и снова трогают запаренных и покрывающихся инеем упряжных лошадей.

Возница, старик в дубленом полушубке и лисьем малахае, с похожим на географическую карту, перепаханным морщинами лицом, глядит на убитых, как дерево сквозь трещины коры.

Второй, пассажир, в инженерской шинели и путевой фуражке, лет тридцати, худой, но сильный, равнодушно-спокоен, и позы в этом совершенно нет или не чувствуется. Изнуренно-худое лицо его красиво красотой породы и будто уже вырождения, а кажущиеся непомерно большими глаза словно углем подведены — не то как у святого на иконе, не то, наоборот, как у богемы, из тех, грассировавших в поэтических кафе, изображая печального Пьеро.

Третий, грузный, дородный, в замечательной черной бекеше и бурках, улыбается дико-счастливой, полоумной улыбкой, не в силах скрыть: «Жив! Уцелел!» — и кровь самоуправно возвращается в его мясистое, одутловатое лицо.

Четвертый, боец, в заржавелой шинели и траченой мерлушковой папахе, непроницаемо-угрюмый, молчаливый, даже будто бы глухонемой, на все глядит с покорностью привычки.

И только пятый, самый молодой из всех и в новеньком кавалерийском обмундировании с тройными «разговорами», не может скрыть жадности. Хоршее, бесхитростно-упрямое лицо, не то гладко выбритое, не то еще не зна-

ющее бритвы. Чистый выпуклый лоб, прямой, широконоздры, чуть курносый нос, твердо сомкнутый рот и крутой подбородок с сильно вдавленной ямочкой посередине. Голубые глаза в снежном пухе ресниц измучены ветрами и бессонницей, но светятся неистощимой жадной жить, месить сырье творения, той жадной, что свойственна всем пылким мальчикам, до срока свято убежденным, что сколько бы ни обращался мир в своей законченной неизменности, лишь им-то и дано пересоздать его по собственным понятиям о справедливости. Лицо его — сама история начавшегося века, прекрасных столетий, отсчитываемых от края тьмы, он — прародитель будущего человечества.

Ему не страшно, он уже довольно видел мертвых. Держал на руках Алешку Котельникова, у которого горлом шла кровь, выплевываясь толчками, словно он давился и отблевался, а глаза расширялись, как будто вопрошая, что же это и как такое может быть, и вот уж заходили к небу, окостеневая, и Северин не мог понять: «Только что был живой — и уже ничего?»

Когда умирали свои, все казалось ему небывальщиной, именно сном: какое-то спасительное слабоумие, почти уже нечувствие мгновенно находило на него, и он, продолжая все видеть и даже осязать, уже не участвовал в происходящем — сознанием, сердцем.

Случайно попадавшие мертвецы внушали ему отвращение, не подаваемое и в отношении своих, красноармейцев, которые как будто делались неизмеримо ближе к мертвым же врагам, чем к нему, их товарищу, пока еще живому. Как были непохожи эти трупы на строгих, благочинных, воистину покойников его, северинского, детства и мирного времени — обмытых, принаряженных в последнюю дорогу, в обитых бархатом и креповыми лентами гробах, с пустыми лицами, похожими на восковые или гипсовые слепки с них, живых... Но странное дело, и эти, и те внушали ему одинаковое, ничем не заглушаемое любопытство — одно и то же чувство неприступности чужой, непостижимой тайны.

Что самого его хоть нынче тоже могут убить, он и теперь не верил совершенно. То есть понимал, что — могут, что когда-нибудь ему придется прекратить существование, и даже чувствовал физический страх смерти, когда над головой рвалась шрапнель, но между ним и этой истиной всегда была какая-то незыблемая и беспроломная стена, вернее радостное чувство своей сбывающейся жизни.

Сам он не то чтоб никого еще не убил, но огонь по далеким фигуркам — всегда на грани видимого, всегда как будто полустертым в беге, в мельтешении — во-первых, доводил его до верхнего предела сосредоточения на своей винтовке и на цели (совмещение мушки и целика, выставление прицела на рамке, как на шкале аптекарских весов), а во-вторых, рождал в нем то же чувство хищного азарта, что и на самых первых стрельбах по мишеням. Он не видел лица и даже человеческого образа, да и не мог понять, наверно, убил ли или только ранил; когда же весь курсантский взвод садил сколоченными залпами, то и вовсе не мог угадать, он ли это попал или рядом лежащий товарищ.

Высокая кровь

Войне вообще обескураживающе недоставало красоты. Пойдя добровольцем, Сергей был в Красной армии с начала девятнадцатого года. Охрана железных дорог. Командные курсы. Он ждал орудийных раскатов, кавалерийских шквалов, штыковых атак — сгореть, испепелиться в огненно-кипящем пекле и тотчас возродиться к новой жизни не ведающим боли, усталости и страха. Но оказалось, что до смерти еще надо дошагать. Уныло глюкающая под ногами грязь, пронизывающий ветер, рыхлый снег, караулы, секреты, таскание сена коням, проклятия, стоны и нескончаемая ругань в бога. Неистребимая потребность сна, недоед и тифозные вши.

Он и сейчас испытывал голодное, обиженное разочарование. Всего минут десять назад, слетев с линейки и упав ничком на снег, он со сжимавшимся от возбуждения сердцем стискивал нахолодевший револьвер, а от этой околицы, поднимая клубы снежной пыли, уносились линейки и брочки, а за ними живым черно-белым бураном накатывались на обоз казаки.

Налетели на дружный винтовочный залп и потоком пошли в разворот, ошетилившись бешеным крошевом взрытого снега. Полоска первозданно чистой степи, растущая меж казаками и обозом, осталась будто бы такой же девственной: никакой черной сыпи порезанных пулеметно-ружейным огнем лошадей и людей, ни единого темного пятнышка — как ни вглядывался Северин.

Всего минут десять назад эти пятеро не знали друг друга, разве только возница-старик, Чумаков, служил дородному каптеру, а вернее начснабу знаменитого конного корпуса. «Путеец», Аболин, вскочил к ним в тачанку, единственную, что ушла из хутора от казаков, взрывая снеговую целину, словно осумасшедший плуг, запряженный гнедыми. Возница повалился с козел в снег, начснабкор, куль муки, рухнул следом, подвластный лишь земному тяготению, а этот, Аболин, немало удивил Сергея своим нетеряющимся хладнокровием — скакнул с тачанки на обозную подводку и, оттолкнув красноармейца от «максима», вклешился в рукоятки, с оскалом резанул, рассыпая над степью железную дробь, только вот с превышением взял...

— Прицельную камеру видишь, в закон твою мать?! — вскочив, накинулся Сергей, испытывая острую досаду и вместе с тем как будто бы любуясь своей боевою бывалостью.

Но эти изнуренно-жесткие глаза и будто бы усмешка снисхождения заставили его почуять стыд... Ростовский подпольщик, работал на Лихой — «в надежде пустить под откос бронепоезд “Ермак”».

— Мне бы с вами, товарищи, — сказал, попеременно взглядывая на Сергея и начснаборка Болдырева. — Имею сведения касательно укрепрайона белых на Персияновских высотах...

Теперь все пятеро держали путь в полештаб Леденева. Северин был назначен к тому корпусным комиссаром — и Болдырев, узнав об этом, посмотрел на нового товарища с каким-то жалостным почтением, неверяще и будто уж совсем обезнадёженно: неужель поматерее никого не нашлось? Где искать (а вернее, где можно настичь) своего командира, он имел только самое при-

близительное представление. Собрав по хутору все семь своих подвод и схоронившихся по-за плетнями возчиков, он начал жаловаться, будто и со злобой:

— Сами видите — не угонюсь. По стратегии-то хорошо — что ни день по сто верст отрывать, ну а мне как с обозом? Он ведь, понимаете ли, маневрирует. Опять же, дело ясное, военное искусство, за что в газете Ленин пишет: молодцы, побольше таких Леденевых. Да только мне-то как работу дать, какую с меня революция требует? Железная дорога — дело дохлое: беляки все пути повзрывали и в узел завязали. А на своих колесах разве же подтащишь к сроку все? Вот и мечусь, как заяц на угонках.

— Выходит, что ж, чем лучше он воюет, тем вам хуже? — оборвал Северин его исповедь, с усмешкой взглянув на Аболина, и тот усмехнулся в ответ.

— Такой парадокс моего положения! И ведь сам с меня требует: «где?» Боепитание одно... Табака, мыла, сахара — вынь да положь. И ведь так поглядит, что аж где-то в самой главной кишке холодеет и лучше бы к белым, ей-богу, попасть...

Сергей ощущал в себе упрямую точность трепещущей компасной стрелки — комкор Леденев, имя ветра, был для него магнитным полюсом Земли, все силовые линии вели к прославленному корпусу, и даже обмерзлые колеса подвод, с алмазным скрипом резавшие снег, казались ему эдакими древними меридианными кругами, топорно сработанными астрольбиями железного века, и упряжные лошади как будто бы имели нюх собак, идущих по следу хозяина.

Таким же магнитом был Леденев и вот для этого Монахова, молчащего, как с вырезанным языком, и для еще полудесятка прибудившихся к ним безначальных бойцов. К Леденеву бежали из госпиталей, полевых лазаретов, из резервных полков, из пехоты, по пути добывая коней, седла, шашки... Эскадроны, полки, кавбригады подавали прошения в штаб: передайте нас всех Леденеву, с ним быстрее дойдем до соленой воды и победы мировой революции... От белых десятками, сотнями, враздробь и взводными колоннами перебежали казаки — в трудовую рабоче-крестьянскую веру и именно что к Леденеву.

Фронт еще не улегся, его еще в сущности не было — Леденев в одиночку прорвал оборонительную линию двух белых корпусов и колдовским броском на сорок верст забрал Лихую, о чем телеграфировал в штаб армии с белогвардейского же аппарата. Пехота ползла, отставая едва не на сутки; вокруг, пробиваясь на Дон, шарахались и каруселили сорные, сбродные, недобитые белые части. Сергей со спутниками двигался с унылым обозом стрелковой бригады Фабрициуса. Клубящийся пар от дыхания упряжных лошадей ложился на гривы, на лица, папахи и намерзал, обсахаривал инеем — и люди с серебряными бородами, усами, чубами, ресницами казались глубокими старцами, которым уж и волосок на голове нести тяжело. Ни близость железной дороги, ни россыпь всех попутных хуторов, ни седые распятия телеграфных столбов с обрубленными проводами, вмерзшимися в сугробы, ничего не меняли в пустынности, в подавляющем однообразии мертвой заснеженной сте-

Высокая кровь

пи; сжигающий, господствующий белый был будто уж цветом самой пустоты, полярного небытия; в бескрайности этих предвечных просторов неумолимо растворялись и серые хатенки с соломенными крышами, и телеграфные столбы, и сам обоз. И мертвая зыбь пахоты, недвижимыми волнами уходящей к горизонту, являлась взгляду будто бы заколеченным древним морем, и цепи старинных курганов тянулись навстречу обозу немymi предвестниками тех незапамятных времен, когда земля еще не знала человека и ничего живого на ней не было.

Сергея занимал нечаянный попутчик Аболин: его холодное, насмешливое самообладание внушало доверие и даже будто бы ту тягу, какую испытывал к старшим, сильнейшим товарищам, но вместе с тем что-то невыправимо чужеродное мерещилось в этом лице.

Один из приставших бойцов, молодой, бахвалился своими подвигами, лихостью.

— Ох, и горазд ты, парень, погляжу, брехать, — пробурчал коренастый старик Чумаков. — Кого крошил-то? Петуха на плахе?

— А вот таких, как ты, бородачей, дурней старых!

— А коли так, вояка, то скажи: чего же ты видел, когда человека рубил?

— А то и видел. Полковничка белого, как зараз тебя. Как шашка от солнца горит, ажник полымем бьет.

— Да нет, брат, — сказал Аболин. — Когда рубишь, ничего уже не видишь, а только две кисточки.

— Какие две кисточки? — не понял Сергей.

— А как из тела шашку-то тягнешь, кровь по стокам бежит, — пояснил Чумаков, посмотрев на него разжиженными временем прозрачно-светлыми глазами, и от этого будто бы детского, безмятежно-невинного взгляда Сергею сделалось не по себе. — Вот это самое две кисточки и есть.

— Вы что ж, военный человек? — спросил Сергей Аболина.

— И да, и нет, — потянулся к нему Аболин самокруткой, прикрывая зажженную спичку отворотом путевой шинели. — В пятнадцатом году пошел добровольцем на фронт. Даже прапорщика выслужил и по ранению Георгиевский крест.

«Начну выпрашивать — поймет, что я его... подозреваю, — замылся Сергей. — А за что? За лицо? За грамотную речь, манеры, выправку? Мало, что ли, у нас офицеров? Вы ведь и сам, товарищ Северин, не пролетарского происхождения. Или после Агорского вам в каждом бывшем офицере будет видеться предатель и шпион?»

— Вы спрашивайте, — разрешил Аболин, словно услышав его мысли. — Война эта давно уже ведется со всеми ухищрениями. Хватает и фальшивых комиссаров, и беременных женщин с подушкой под платьем.

— Спрашиваю, — рассмеялся Сергей облегченно. — С Леденевым, выходит, знакомы?

— Зимой восемнадцатого года познакомились, на Маныче. Я агитировал казачью бедноту, а он строил свой партизанский отряд. Это сильный человек.

Есть в нем что-то такое, что заставляет всех вокруг с готовностью и даже с радостью ему повиноваться, — говорил Аболин, глядя своими странными глазами словно сквозь Сергея и улыбаясь так, как улыбаются чему-то незабвенному. — Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и копыта коней его подобны кремню, и колеса его как вихрь.

— Вы, Сергей Серафимович, вон Чумакова поспрашивайте, — втесался Болдырев в их разговор, кивая на обтянутую желтым полушубком спину старика. — Он Романа Семеныча смаличку знает. Тот, было время, у него и вовсе в подчиненных ходил. Слышь, Чумаков? Поведай-ка нам, брат, как ты товарища комкора притеснял при старом режиме.

— Ага, как же — зараз, — сипато отвечал старик, не оборачиваясь. — Ить вон и буран собирается. Где уж тут погутарить — за шапки держись.

А небо уж и вправду трупно потемнело, и горизонт на юго-западе, лишь миг назад четкий, как бритвенное лезвие, подернулся тучами белого кипева, и вот уже все небо слилось со снежным морем в иссиза-белесую непроницаемую муть. Взрывая, сверля бесконечные волны сугробов, громадной гуттаперчевой стеной ударил ветер и забил рот и горло леденистым песком, в самом деле лишая возможности хрипнуть хоть слово, резал бритвой глаза, наждаком шкурил скулы, и пришлось втянуть голову в плечи и упрятать лицо в воротник. Сквозь режущий свист, волчий вой и детскую жалобу вьюги хрипато прорывались безобразные ругательства обозников, костеривших своих изнуренных коней и друг друга. Визжали уносные и коренники, ломались с треском дышла и оглобли. Нет мира, нет земли, нет даже света, отделенного от тьмы, — в пронизанную воем, изначальную, не осиянную творящим духом пустоту оборвался накатанный шлях, а вместе с ним вся красная Россия.

II

Июль 1919-го, Госпитальная клиника Саратовского университета

Из вагона его вынесли на простынях, как гроб на полотенцах. У всех была почти уверенность, что для него это последняя дорога.

Бесстрашный от отчаяния, по-собачьи влюбленный в него ординарец искал его на ископыченном, испятнанном трупами поле, переползал под принимающим к земле пулеметным огнем, саламандрой, змеей извивался между гнедыми валунами конских крупов, спин, боков и новопреставленными мертвецами, чьи разрубленные и простроченные пулеметом тела от легкой всюду жаркой пыли перестали кровоточить, елозил в этом черно-буром студне, кусал траву и землю, пропитанную кровью и мочою издыхающих животных, и плакал как ребенок от неспособности признать, что командир его и вправду оказался смертным. Он нашел его в крутобережной теклине, ниспадающей в балку, — на губах пузырилась кровавая пена, а только ворохнул, как изо рта толчками начала выплевываться кровь. Не чуя трясущихся рук, повернул его на бок, нашел

Высокая кровь

ошупкой рану на промокшей, как от ливня, гимнастерке, порвал исподнюю рубашку на себе, перевязал как мог и поволок. Последней жилой мочью, обваливаясь на спину и ноя сквозь стиснутые зубы от тоски бессилия, тянул его по этой расширяющейся теклине, словно огромного ребенка из утробы самой праматери-войны.

Ординарца звали Мишка Жегаленок – рожак с Гремучего, комкоров хуторной, уцелевший из горстки тех первых, что пошли за Романом Семенычем воевать за мужицкую землю и волю.

Тараня тендером разбитые вагоны, зверино-воюющими, гневными гудками загоняя в тупики даже самые срочные грузовые составы и людские теплушечные эшелоны, за полсуток покрыл перегон до Саратова экстренный поезд. Весь путь ординарцы, сменяя затекшие руки, держали раненого на весу, чтобы не вытрясти из тела клокочущие в нем, как в казане, последние, наружу рвущиеся силы.

Знаменитому Спасокукоцкому и всему персоналу было разъяснено, что это тот самый комкор Леденев – любимый герой и вождь красной конницы, – и надобно вложиться всем своим искусственным дыханием и физиологическим раствором, чтоб сохранить вот эту жизнь для революции.

Профессор, наломавший руку еще на раненых в Германскую, делал все, что умел как никто, – не из страха и благоговения, а из соображений своего ремесла, для которого был предназначен, как легавый кобель для охоты, а его пациент для войны. Он видел под собой не историческую личность, даже не человека, а только поле операции, протертое спиртом, бензином и йодом, – разрезанные кожу, мышцы, фасции, обнаженные желтые ребра с глубокими трещинами и дымчатое легкое с тяжелым сгустком крови в плевре, уродливо запавшее, придавленное легкое здорового и сильного тридцатилетнего мужчины, которому еще бы четверть века ничто не угрожало из «естественных причин», и велика была возможность умереть глубоким стариком, когда б не свинцовая пуля, вошедшая под правую лопатку.

Да и сам для себя этот вот человек был никаким не Ледневым, командующим 1-м Железным конным корпусом, обороняющим от Врангеля Царицын, а сплошным чувством боли и глухонемого удушья. Он еще чувствовал и даже будто слышал происходящее вокруг, но был на той последней грани, когда уже не помнишь своего предназначения и даже имени, когда человек опускается почти до самоощущения животного, которое не хочет умирать.

Оперировали его многожды. Удалили свинцовый комочек, засевший под правым соском. Блестящими спицами, напоминавшими вязальные, выкачивали из груди дурную, густелую черную кровь. Он приходил в себя и снова слышал вязущий противно-сладкий запах хлороформа, под действием которого безобразно ругался, звал то Дарью, то Асю и пел: «Мы по горочкам летали наподобье саранчи. Из берданочек стреляли все донские казачки...», а может быть, это звучало лишь в его голове, в то время как не мог произнести ни слова, и врачи, что склонились над ним, различали лишь клекот нагорной воды, полный силы и лишенный значения.

То он видел сморчковую песью мордочку нетопыря, его ошеренные ренские зубы и коричневые пузыри его зенок, ощущал на себе его мелкие когти и раскрытые веером кожистые глянцевиные крылья и чувствовал, как тот присасывается к дыркам у него в груди. То он видел стекляннорубиновых шестипалых рогатых чудовищ, совершенно прозрачных и наполненных кровью, которую пьют. То казалось, что полчища вшей возит он в переметных сумах, кормит ими коня, поедает их сам, сеет их по родимой степи. Всюду, где проезжает, буревыми валами проходит за ним всесжигающий пал, пожирает ковыль и заливы некошенных спелых хлебов, и под хлопьями сизой золы, запорхавшими по небу, в пыльной мгле суховея чернеет обугленная, трещиноватая, как плаха, горькая земля.

Когда он наконец возвратился из странствий по фантастическому миру, увидел над собой лобастое тяжелое лицо с безулыбчиво сомкнутым ртом, широконоздрым крупным носом и глазами, глядящими куда-то в самую твою серединку, но не в душу, а в животное нутро — безжалостно, но признавая твоё право на боль и зная о своей над нею, болью, власти, но зная и предел, где эта власть кончается.

— Вы слышите меня, Леденев?.. Вы ведь Леденев? — спросил врач уже подозрительно, поскольку лицо пациента, вернее глаза его выразили одно только недоумение и даже будто бы непризнание себя Леденевым.

— Прикажете — так буду Леденев, — улыбнулся пациент смиренно и в то же время будто жалобно-просительно: а нет ли для него другого имени, другого дела, славы, учasti — как будто собственные неотрывные представились ему не то давяще-непосильными, не то совершенно никчемными в сравнении с тем, что открылось ему там, где он побывал.

«Быть может, это-то Толстой и называл пробуждением от жизни? — подумал профессор. — Но ведь он будет жить. Теперь уж и не хочешь, а придется... Так что ж это — Аустерлиц, все пустое, обман? Такое, вероятно, и барин, и мужик понимают уже одинаково... А впрочем, плевать, чего там над ним распахнулось. Гной, гной в плевральной полости — пожалуйста пунктировать, а с ретроградной амнезией не ко мне... Какой, однако, экземпляр. — Он, как хорошего коня или собаку, жалеюще окинул это тело, имевшее цвет томленого дуба, подчеркнутый свежей белизной бинтов, с глубокой грудной клеткой и волосатыми ногами, сильными, как кузнечные клещи. — А может быть, он просто чувствует, что ему больше не воевать? И легкое спалось, и правая рука, скорей всего, сухая будет. Какой, в самом деле, теперь из него теперь Леденев? Жить есть чем, но как... Они же ведь хотя бы пылать, сгореть и осветить полмира, как этот у Горького, вырвавший сердце. Сметем до основания — на меньшее, чем быть самой природой, не согласны. Ну сокрушите, ну сметете, а жить из чего, господи? На то, чтобы строить, силенки останутся? А то ведь вон, легкое выблвано, хребет переломан, мошонка оторвана. Творца подправляли — себя искалечили. Наш брат-то, ученый, сперва лягушечек кромсает, а эти сразу на себе жестокие опыты ставят да на великом миллионе человек, которых не спрашивали. Быть может, хоть этот наконец что-то понял? А был-то страшный,

Высокая кровь

говорят. Ух и крошил же, верно, русских мужичков. Вон теперь какой смиренный — что живой схимонах во гробу. Да верно, тоже до поры, а то не видели таких — в чем только дух, а всё изнеможе бежай от течения своего, аки конь, стремящийся на брань. Подыдем на ноги — тогда уж берегись. Как скажешь такому: вам нечем дышать?»

Он перевидел тысячи больных и раненых: интеллигентов, мужиков, полковников Генштаба, комиссаров, людей неукротимой воли и стоического мужества, покорного согласия с судьбой и христианского долготерпения. Он видел чудеса восстания из мертвых и смерти от одной тоски, когда человек по ранению или болезни уже не может жить как прежде и не хочет — никак.

Он знал диковинную стойкость, порой необъяснимую живучесть человеческого существа, его способность к возрождению и вместе с тем его ломкость: обрушится дом, полсотни осколков вопьются во внутренности — и все нипочем, а умирает, переев соленых огурцов, от стакана холодной воды, застудившись в ночевке.

Он редко удивлялся происходящему с больными, да и некогда было дивиться. Уж слишком он был занят легкими прославленного пациента, чтоб придавать значение некоторым странностям в его поведении. Тот никого к себе не звал и ни о ком не спрашивал. К больному порывались его преторианцы и высокие чины из красного командования, и спустя две недели профессор разрешил посещения.

Первым влез ординарец, тот самый, спаситель, Жегаленок, земляк. Его хозяин, божество, оплывший липким потом и грязно-восковой, как мятая в руках свеча, смотрел все теми же неузнающими глазами, страдальчески-злобно и будто бы подстерегающе.

— Роман Семеныч! Любушка! Живой! А мы уж думали — беда, отходил по земле. Как же мы без тебя, кто нас в трату не даст?.. Не-э-эт! Не возьмешь Леденева!.. Вот гляди — допустили к тебе докторá. Стал быть, все, и отставить!.. Ну как ты?

— А будто землей меня казаки наделили по самые вязы — ни ворохнуть, ни дыхнуть. — Леденев дышал с присвистом, мучительно затягивая сквозь оскаленные зубы струю густого камфарного воздуха.

— Царицын оставили, знаешь? Как поранило тебя, так и рухнул фронт, колесом покатился с горы... Вдарил вот! Мовет быть, и не надо было говорить — для пользы твоего здоровья. Да только все равно ить довели бы до тебя.

— Корпус где?

— Кубыть, на Медведице зараз. Буденный повел. Отходить на Камышин получили приказ.

— Из наших тут кто?

— Да я вот, Степка Постышев да Фрол Разуваев. Всю дорогу тебя на руках как дитяту держали... А она не поехала. Да ты не сомневайся — как увидала, мы тебя несем, так ажник вся и напряжинилась, как, скажи, собака на цепи. И поехала бы, дорвалась, да по должности ей не положено, такой

на ней то есть комиссарский долг, что ежели революция прикажет, надо делать. Тут она уж не женщина, а самый, значит, что ни на есть сознательный боец... Да я чего — молчок, — испугался Жегаленок леденевского взгляда, не то чтоб угрожающего, а как бы отстраняющего от себя рассказ о женщине. — Коли брежнев наслушался, так извиняйте. Да только у меня у самого кубыть глаза есть, — блудливо прижмурился, не удержавшись. — Это дело такое, что всякая тварь на земле хучь ты как ее перетряхни, а паруется. Сколько нам еще жить припадет по военному счастью, ить не знает никто. Любить-то когда? Мы долг свой блюдем, сами знаете, да только я вам так скажу: ежели мне прикажут вовсе никогда до баб не докаться и жить для революции, навроде как чернец для Бога, так я на том из Красной армии и выйду, ей-бо не брешу.

— К белым, что ли, пристанешь?

— Ну, к белым не к белым, а все ж непонятно: правов-то нам вон сколько разных дает революция, а энто, чего ж, отымают — баб и девок любить? Ажник прямо смешно.

— Со мною был у балки, как поранило?

— Так ты ж меня к Дундичу, к Дундичу... А как правым плечом завернули на них, тут Архипка мне встречь — с седла тебя сняли, кричит. Своими глазами видал!

— А кто снял, не видел Архипка?

— Да как кто?! — И радостно, и жутко стало Мишке, когда из синюшных провалов орбит взглянул на него настоящий, живой Леденев и в то же время будто бы гонимый и подраненный зверь. — Из пулеметов встречь полосканули гады.

— А дырку во мне сзади — это как?

— И думать не моги, Роман Семеныч! — расширились глаза у Мишки в каком-то суеверном отвращении. — Кто ж это такое?.. Да мы за тобой до могилы! Да там и впоперек фланкирующим шпарили — мудрено было спину подставить?.. Али сам чего видел? Так ты скажи — мы эту... где хочешь сыщем!

— Да что теперь об том гутарить...

— Так встанешь ить, Роман Семеныч, возвернешься! И Аномалию твою словили мы! Сама до нас из балки дорвалась, целехонькая! Глядим, из ноздрей ажник полымем бьет — тебя потеряла. И раньше-то к себе не подпушала никого, а теперь и подавно. Твоя была — твоей и будет! И корпус — то же самое, уж ты не сомневайся!

— А про Халзанова чего слышать, Мирона? — как будто отдирая закоченевший бинт от раны, ощерился больной и зашелся в хрипато, выворачивающем кашле, не в силах продохнуть, освободиться, пока не выхаркал на подбородок сгусток крови.

— Да как с корпуса сняли, так ничего об нем и не слышали. Чего там с ним в тылу — откуда же нам знать. Я думал, вам известно...

Жегаленка прогнала хожалка. Наутро явился другой посетитель — и Леденев опять недоуменно, недоверчиво-строго оглядывал немолодого человека,

Высокая кровь

по виду кадрового офицера, с английскими усами и твердо загнутыми челюстями, с зачесанными надо лбом полуседыми волосами и умными собачьими глазами в золоченом пенсне. И так же недоверчиво и горестно, словно отыскивал на пепелище что-то дорогое, смотрел на него и вошедший, подсевший к койке человек.

— Ну здравствуй, Роман Семеныч. Верись — не узнаю. Смотрю — вроде ты, а будто и не ты.

— Краше в гроб кладут? — виновато улыбнулся Леденев, и страшной показалась Клюеву вот эта жалко-виноватая, просительная в безнадежности улыбка — так она не пристала тому Леденеву, которого он знал.

— Э, нет, брат, погоди, — заспешил он. — Это белые тебя похоронили. То-то будет им радости, как восстанешь из пепла.

— А может, все, отвоевался? Отпустите меня? — не то поиздевался над собой, не то всерьез взмолился Леденев.

— А сам-то ты себя отпустишь?

— И корпус вернете?

— Ты, брат, поправляйся пока. А голове твоей мы применение найдем. Дела у нас нынче, как сам понимаешь, худые. Развернулся Деникин — прямой ему путь на Москву. И Врангель жмет на нас. Одной только конницы... да танки английские с аэропланами. И у Сидорина монгольская орда — от Хопра напирает. А корпус Буденного... твой, — поправился Клюев, — прорывы затыкает. Сознаться тебе: возможно и такое, что заберут его у нас. Зарубин отозван в Москву. Ну что ж, если так, то будем скрести по стрелковым дивизиям и войсковую конницу сводить. Так что нужен ты нам, пока жив, так-то, брат...

И это-то «нужен», произнесенное над человеком, который не мог затянуть в свои легкие достаточно воздуха и был бессилён, как спеленатый младенец, подействовало, ровно Иисусово «Встань и иди» на расслабленного, вернее как заклятие новейшего шамана, у которого вместо лосиных рогов, колотушки и бубна — полковая труба и кровавое знамя... По крайней мере, только этим мог объяснить себе Спасокукоцкий то, что видел, да и то лишь отчасти.

Разрезывая на груди пациента бинты, которыми тот был обкручен, как египетская мумия, прислушиваясь к хрипам за выпуклым заслоном мускулов и ребер, он обнаруживал, что легкое расправилось уже наполовину и запавшая правая часть грудной клетки начала раздаваться. То был естественный процесс, не раз им наблюдавшийся, но скорость его опрокидывала профессорское заключение: «Для расправления легкого потребуется полгода. Для полной трудоспособности — не менее двух лет».

«Что ж, может, в самом деле новый человек, — посмеивался внутренне профессор. — Сам себя воспитавший, словно йог на гвоздях, да так, что и все внутренние органы переродились. Питекантропы, неандертальцы, человеки разумные, а теперь вот, пожалуйста, сотворенная большевиками порода — железный Адам. Такой страстью к действию они одержимы, что кажется, и впрямь преследуют своим движением и смертью какую-то нечеловеческую